

Золотое слово



Вад. Пан.

Дети гранитных улиц

Золотое слово

Вад. Пан.

Дети гранитных улиц

«ИП Березина Г.Н.»

2020

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

Пан. В.

Дети гранитных улиц / В. Пан. — «ИП Березина Г.Н.»,
2020 — (Золотое слово)

ISBN 978-5-00153-221-7

Кто не мечтает вслед за автором пуститься в бескрайние моря фантазии?!
...Увы, читатель, здесь тебя ждет всего лишь паромщик, направивший свой
утлый челн в недавнее прошлое по дельте Невы. Мой город слишком далеко,
и слишком близко, но и эту дорогу нужно преодолеть, чтобы вновь пройти по
таким странным теперь улицам, вспомнить давно забытые события, и даже
встретить самого себя, если, конечно, ты себя узнаешь. ...А, может, тебе
чужды эти берега? Кому-то росчерком пера дано переносить читателя в любые
дали, удел паромщика вести свой челн в знакомых водах. Наверное, маршрут
Санкт-Петербург – Ленинград увидит иной, прекрасный лайнер изящной
словесности... И я тогда без сожаления оставлю этот пост.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-00153-221-7

© Пан. В., 2020
© ИП Березина Г.Н., 2020

Содержание

Дети гранитных улиц	6
01. Бродяги	6
02. Немного о Гоше	10
03. Фред и Пана	15
04. Последнее творение мастера	22
05. Другие люди	25
06. Высшая ценность	32
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Вад. Пан. Дети гранитных улиц



Дети гранитных улиц

01. Бродяги

Солнце уже отыграло свой менуэт на стройной колоннаде Казанского, когда в тени его величественного портала показалась понуро дефилирующая живописная группа из трёх парней и девушки. С безмолвным осуждением старца провожал собор эту чёрт знает откуда взявшуюся компанию, своим видом никак не согласующуюся с критериями высокого классицизма – дожили! – печальным шелестом ветра звучало в колоннах творения великого зодчего.

– Охламоны! – разделял это мнение случайный прохожий.

– Тунеядцы! – вторила им из окна ворчливая старушка.

С точки зрения самих «охламонов», сегодня они выглядели вполне прилично. По крайней мере, достаточно, чтобы не огрести по морде в агрессивной очереди винного магазина. Мишель убрал за воротник волосы, снимал все раздражающие толпу феньки, Барклай и без того всегда выглядел как человек. Лишь панкующий Гоша со своим дурацким ирокезом и рваной тельняшкой для такого места не годился – его и не взяли, оставив битый час торчать за углом. Но всё это не способствовало успеху мероприятия.

Портвейн закончился у них перед носом.

– Сволочи! Одно слово – сволочи! – выпускал пар застоявшийся Гоша. – Устроили жизнь! Паразиты! А кроме портвейна, ничего не было?

– Чернила были, – отозвался Мишель с обидным безразличием, – но Барклай сказал, он такое пить не будет!

– Да взяли бы чернил! Лучше чем ничего!

– Я чернила не пью! Гадость! – поморщился Барклай, всем видом показывая, что эта тема закрыта. – И где мы теперь портвейн купим? Только у таксистов!

– Я вам куплю у таксистов! – взорвалась молчавшая от самого магазина Аннушка. – Жрать нечего, а им портвейн по тройной цене?! – Глаза её выкатились, круглое личико над худой шеей вытянулось от возмущения. – Деньги девать некуда?! Покупай, – зашумела она на Гошу, – только мы здесь при чём?! У меня вообще «айкидо» через час! И чего вы в этот магазин попёрлись?! Собирались же дойти до «Сайгона», в «тошниловку», а вместо этого весь день в очереди?!

Длинная чёрная юбка Аннушки с большими цыганскими цветами гордо и решительно зашуршала мимо озадаченной тройцы.

На вопрос, что такая молодая, симпатичная девушка делает в компании этих чугреев, Аннушка ответила бы просто. Барклай она называла своим первым мужем, а Мишеля Бакинско-го третьим. Гоша её несколько раздражал, но он был «свой» в чужой среде большого города.

Этот раздел на «своих» и «чужих» когда-то для напуганной девочки, лимитчицы из Молдавии, стал не просто спасением, он стал для неё и семьей, и религией, и идеей.

Увлечение Барклай монархизмом, образ жизни питерской подворотни, бродяжничество – для них, может, и было игрой, средством позлить обывателей, уйти от унылой советской действительности, но не для Аннушки! Она приняла его всецело так, как может принять только женщина, не нуждающаяся в обосновании, что правильно, а что нет.

Слишком глубокая пропасть лежала между ней и обывательским обществом, слишком беспросветным в нем было её будущее. Любые посягательства этого «внешнего мира» на её жизнь вызывали в Аннушке агрессию.

– Не бузи, Аннушка! – примирительно замычал Барклай. – Что ж мы – в Питере бутылку не достанем? Пошли, я знаю где, только портвейна там не бывает, но свои люди, всё сделают...

– Нет! Ну, до чего же сволочи! – взорвался от вновь накатившей волны возмущения Гоша. – Вся эта сволота, что в спецраспределителях отоваривается, а нам законы пишет! Это же не один Горбачёв устроил! Ладно, он идиот, но ведь вся эта сволота за его «сухой закон» единогласно голосовала!

– Ты бы туда попал – тоже проголосовал, – ухмыльнулся Барклай – у нас за все законы единогласно голосуют.

– Я?! Да если бы такие люди, как я, туда попадали, такого идиотизма не было бы! Туда с детства лишь ублюдков отбирают: пионерия, комсомол, партия... Ненавижу!

– А что, разве предыдущий «сухой закон» не при царе-батюшке принимали? – ехидно подколола известного монархиста остывающая Аннушка.

– Дураки всегда были, те за глупость ответили, – пробурчал Барклай.

– Царь-батюшка здесь не при чём! – протянул Мишель Бакинский, высвобождая из-под воротника свою длинную гриву. – Это демократически избранная дума, по инициативе депутатов, приняла сухой закон, «для улучшения нравов», кажется в тысяча девятьсот шестнадцатом, – и, осветив всех лучезарной улыбкой, старательно принялся приводить свой внешний вид, испорченный посещением винного магазина, в обычный порядок. – Больше того, они ещё и курить запретили в общественных местах, на площадях и проспектах!

Мишель Бакинский был довольно зрелым мужчиной, ему давно перевалило за тридцать. Впрочем, «зрелость» не коснулась Мишеля, оставшегося большим ребенком.

Статный, с чистым правильным лицом, обрамлённым длинными ровными волосами и чуть выющейся бородой, он обладал какой-то невероятной искренней детской улыбкой, озаряющей всё и всех вокруг. Противостоять обаянию Мишеля было невозможно.

В отличие от спутников, путь добропорядочного советского гражданина складывался для него безоблачно. Потомок известной в Азербайджане фамилии имел хорошее образование, завидные перспективы, квартиру. И что занесло его в питерские подворотни?

Глядя на светлое, по-детски чуть удивленное и вечно улыбающееся лицо, заподозрить в этом что-то трагическое никому и в голову не приходило.

Словом, однажды Мишель бросил всё и стал бродягой. Его нынешняя жизнь протекала между питерскими бомжатнями и предгорьями Казахстана, куда он обычно отправлялся по весне, возвращаясь на зиму с пакетом «мумия» и баулами анаши. Мумие охотно брали ларёчники в качестве панацеи от всех болезней, не пропадала и анаша, но это были уже заботы его «питерской жены» Аннушки, которая была у него скорее за маму.

Мишеля интересовали только книги, единственная страсть, которая осталась у него от прежней жизни.

– Значит, семьдесят лет мозгов хватало, чтобы народ не злить, – фыркнула Аннушка, обиженно поглядывая на заново развешанные Мишелем феньки. Там были и её, но не все, а некоторые её просто раздражали. – А теперь опять разжигение?!

– Все всегда хотят как лучше, – примирительно запел Мишель, в ответ на недобрые нотки своей питерской жены, – чтобы всем было хорошо, чтобы люди не пили...

От этой до боли знакомой напевной интонации у Аннушки защемило сердце. Она означала одно – её бродяга снова слышит зов. И дело тут не в принципах или воле, просто всё, ради чего он так стремился в Питер, закончилось... И она не в силах что-то изменить. Аннушка

умолкла, опустила голову и съёжилась, стараясь подавить никчемную слезу. Может облегчить душу, выплеснуть на него всю накопившуюся обиду? Попытаться удержать несмотря ни на что? Или снова ночи напролёт запоминать его образ, готовясь ждать, надеяться и верить? Как ненавидела она это время, когда Мишель, будучи ещё рядом отдалялся всё сильнее и сильнее.

– ...Не верю я! Не верю, что «демократически избранная» могла своим избирателям такую гадость сотворить! – не унимался Гоша. – Что же это за демократия?! Кто за них голосовать станет?! Ну ладно, один раз набрали идиотов, потеряли страну, но второй раз! Инстинкт самосохранения должен быть?!

– Какой может быть инстинкт самосохранения у стада баранов?! – презрительно усмехнулся Барклай. – Им пастух нужен!

Барклай был местным, ему выпало родиться в семье известных художников. Впрочем, никакой семьи там не было, и вообще всё было сложно. С детства он нес достаточный груз обид и на мать, и на отца. Возможно, причиной ухода Барклая было нежелание оставаться тем самым плодом известной любви, а может, слишком обостренное восприятие достоинства и чести, не вяжущееся с окружающей действительностью.

Как бы ни было, понятие «личность» с такими присущими только ей качествами, как «достоинство», «честь», «благородство» в его представлениях о мировой гармонии занимала ведущее место. Государственное устройство, основанное на кампанейщине, не принималось ни в каких видах, а «советская кампанейщина» была худшим, из всего, что только могло поразить общество.

Труды Ницше и Солоневича окончательно сформировали его как убежденного монархиста. И если у него и была, какая мечта, так о возрождении белого движения, под знаменем которого Барклай готов был с радостью сложить голову «за Веру, Царя и Отечество» в неравном бою.

Он не сидел, сложа руки, боролся с существующей властью всеми доступными способами. Громкая фамилия в этом немало способствовала. Самые осторожные оппозиционные издатели легко и бесплатно предоставляли ему свои тиражи, которые затем за копейки распродавались бомжами по городу. Она открывала двери любой тусовки неформалов и художников, благодаря чему в его распоряжении была личная штаб-квартира на Мойке, да ещё и склад в дворницкой у Дворцовой площади.

Но главной своей задачей Барклай считал подготовку себя и будущих бойцов.

Это он в своё время привел Аннушку на айкидо. Она вообще с лёгкостью соглашалась на всё, словно боялась не успеть или что-то пропустить в этой жизни. Надо было видеть, с какой яростью крушит Аннушка воображаемых врагов! «Дааа! Она отличный воин, только, чур, не под моим началом!» – думал Барклай, не понимая, как Мишель Бакинский с ней ладит?

Сам он быстро охладел к единоборствам, поняв, что не это путь к цели. Свой путь он нашёл на Кавказе, перевалив главный кавказский хребет с группой горных туристов. Это изменило всё.

Сказать, что Барклай заболел горами, было бы недостаточно. Горы очаровывали и ошеломляли, но не меньше гор потрясли люди! По сути, здесь были те же бродяги, только сплочённые, неплохо оснащённые и отлично подготовленные, и их было много!

Что ещё было надо? Лишь одно – стать своим в этом обособленном сообществе.

Этому он готов был посвятить жизнь.

– Нет, Барклай, ты не прав! – помолчав, возразил Гоша. – Только демократия! Но настоящая, не совковая! И частная собственность. Нужно всё отдать в частные руки – кафе, магазины, предприятия, как во всех нормальных странах!

– «Демократия есть общение подобных друг другу, невозможное там, где собственность не ограничена, ибо безграничная собственность неизбежно разводит свободных на враждующие лагеря...», – деловито процитировал Мишель Бакинский, – Аристотель говорил: выбирай что-то одно – или «демократия», или «всё в частные руки», оно вместе не случается.

– ...Аристотель! Он когда жил?! С тех пор всё поменялось давно...

Компания бродяг исчезла в каменных лабиринтах города. Казанский собор провожал её бесстрастным взором. Он видел и не такое. Да и было ли оно, это «безмолвное осуждение старца»? Или просто почудилось? Слишком много он видел, слишком многое знал. Сколько всяких бродяг прошло тем же путем, мимо этой колоннады?

...Или их не было? Может, и эти почудились?

02. Немного о Гоше

Все относили Гошу к той породе добродушных раздолбаев, без которых жизнь была бы скучна. Рядом с ним каждый мог почувствовать себя солидным и деловитым.

Свой крест в царившей вокруг среде напыщенности и назидательности Гоша нёс с достоинством, не поддаваясь никаким менторским нравоучениям.

Объяснить столь стойкую приверженность к раздолбайству можно было бы его природной непосредственностью, или промашками в воспитании, но сам Гоша считал, что в основе его конфликта с окружающим миром лежит философский принцип.

По убеждению идейного раздолбая Гоши, интересы человека и общества столь же несовместимы, сколь и неравноправны: всё, что человек, по мнению общества, тому «должен», с него и так берут, помимо его воли, а всё, что важно самому человеку, недоступно или даже осуждается этим самым обществом.

Прилагать какие-то собственные усилия к обучению или устройству в столь несправедливым и враждебном мире, по его мнению, было как минимум глупо.

Единственное, что имело для него смысл, это рок, точнее всё связанное с аспектом электронного звучания.

Даже на обучение металлообработке по настоянию опекающей его тетки металлист Гоша согласился лишь из-за созвучия названия этой специальности его интересам.

Тётка, милейшая женщина, и представить не могла, какой груз на себя взвалила, забрав племянника у спившейся сестры! Женщина религиозная, бездетная, с неудавшейся личной жизнью тяжело переживала судьбу родных и безропотно приняла свой крест. Если для неё освободившаяся комната в коммуналке, куда прописали Гошу, служила «свидетельством», «знаком свыше» указанного судьбой предназначения, то и сам Гоша никак не мог объяснить случайностью свой переезд из зачуханного хмельного поселка в самый центр северной столицы, квартал у Казанского собора! Размышляя об этом, он волей-неволей поддавался привычному местному населению мистицизму.

Монолит советского общества скрывал множество течений, имеющих в том числе и топографические координаты. Так в ряду скверов, рынков и прочих мест средоточения различных специфических интересов, простирающаяся вдоль Невского колоннада Казанского собора была известна как место встречи бродяг, путешествующих автостопом. Здесь можно было найти жилье, узнать про своих или просто выпить с такими же охламонами...

И вот однажды Казанский и Гоша нашли друг друга. Вряд ли было еще такое место на земле, где Гошино раздолбайство могло возрасти до ранга идеологии!

Одно из несчастий, обрушившихся на тётку и других мирных обитателей коммуналки с его появлением, пришло именно отсюда.

Стоит отметить, что жильцы вполне лояльно относились к собиравшимся здесь небольшим группам бродяг, но одно дело видеть их на улице и совсем другое – у себя в квартире!

Гоша тащил домой всех. Он был в восторге от этих людей, их отношений, взглядов, жизненной философии.

К чести соседей, истинных уроженцев своего города, известных сдержанностью, даже некоторым инфантилизмом, к своему раздолбаю Гоше в коммуналке относились беззлобно, как к стихийному бедствию, последствия которого проще упреждать, чем с ними бороться.

Так, с легкой руки тетушки, сначала на кухне, а затем и по всей квартире стали появляться листы с короткими посланиями, адресованными явно не жильцам: «Правую конфорку

не включать! Она гаснет, можно отравиться газом!!!», «Не жгите бумажки! Это документы!!!», «Газеты не брать! Это Петра Семеновича!»

Не меньшим бедствием квартирантов было Гошино увлечение тяжелым роком. Соседи недовольно фырчали, пока он днями напролет, терзал добытые где-то гитары, но скоро его пытливый ум дошел до усилителей и звукосъёмников!

И эту проблему здесь решили по-своему, через чьи-то связи, устроив Гошу в школу ночным сторожем. Решение оказалось соломоновым. Скоро туда перекочевали и собранные на свалках усилители, колонки, коробки проводов, гитарные деки и прочий извергающий далеко не детские звуки хлам, обеспечив учреждение дополнительную защиту от жуликов. Туда же переместился и основной поток идейных сподвижников зарождающегося рокерского течения, а у Гоши, наконец, появился полигон для изысканий.

В основе обуреваемых Гошей идей были мистические представления, сформировавшиеся за годы жизни у Казанского собора. Музыка, по его убеждению – абсолютное свидетельство существования единой гармонии, являющее лишь крохотную вершину айсберга, охватывающего всё, и лишь по недомыслию называемого Богом. О чём, впрочем, Гоша имел самые призрачные представления. Но был уверен, что, именно «единая», «всеобщая гармония» привела его в этот город с конкретной целью, призвав к созиданию нового храма, «храма рока» как по форме, так и по содержанию. Он верил, что звезда, которая привела его сюда, укажет путь и дальше.

Возможно, поэтому он и не отказал Барклаю, когда тот в первый раз позвал его на Кавказ. Особого желания провести летний уикенд на ледниках и скалах Гоша не испытывал.

Как, впрочем, и подавляющее большинство советских граждан.

Культивируемая «горная романтика» имела существенную государственную поддержку, энтузиасты организовывали секции, действовали городская, общесоюзная службы, через них и профсоюзы, зарегистрированные группы могли получить существенную материальную поддержку, включая оплату дороги.

Но желающих проводить летний отпуск на заснеженных вершинах было не так много, а чтобы официально зарегистрировать группу её численность должна составлять не менее шестнадцать человек! Даже крупные предприятия редко набирали такое количество фанатов. Так что брали всех.

Барклай, у которого средств на собственные экспедиции не было, быстро оценил выгоды системы, просто заключая договора с горниками на недостающее количество людей! А где их было брать, как не у Казанского?!

Любопытство, халява или просто желание найти себя руководило Гошей, когда в один прекрасный день, снаряжённый Барклаем, с кассетной радиолой «Юность» да тремя рублями в кармане он отправился в горы...

То, что переть тридцатишестикилограммовый рюкзак на высоту в три тысячи метров «не его», он понял сразу. Но идти было надо. Он матюгался и шёл, озирая заснеженные красоты через стекла сварочных, за неимением альпийских, защитных очков.

Как самого неквалифицированного, Гошу особо не напрягали, он не участвовал в вылазках, разведках, подолгу оставаясь в лагере. Но вовсе не был бесполезным членом группы! Гоша виртуозно сливал бензин со всех типов транспортных средств и тырил продукты на рынках, чем с первых дней добился уважения товарищей. На нём был бензин, без которого не выжить в горах, и кухня.

Отрицательным моментом стало то, что Гошу загребали в каждом селении, где было хоть какое-то отделение милиции. Причем не за бензин или продукты, он просто не нравился местным. В каждом отделении Гоша выслушивал лекцию, как правильно стричься, носить одежду, и каждый раз его отпускали, выяснив, что он из Ленинграда.

Очевидно, этот регион здешняя милиция выносила за пределы своего просветительского влияния.

Другим, куда более важным открытием стал местный эфир.

Горы Кавказа оказались Меккой для меломана. Если на северо-западе более-менее приличный прием был возможен лишь на средних и длинных волнах, полностью подконтрольных отечественному минкульту, а то, что проталкивалось сквозь скрежет помех на коротких, еще и добывали глушилки холодной войны, то здесь было всё наоборот! Прохождение радиоволн в горах Кавказа не порадовало бы любителя хора имени Пятницкого, но привело в восторг Гошу, крутившего ручку гетеродина каждую свободную минуту! Прием КВ был настолько устойчивым и ровным, что с него можно было писать.

Когда они вышли к Терсколу, последнему оазису цивилизации, часть группы ушла на Донгуз-Орун, а Гоша, в очередной раз, отсидев в милиции, отправился налаживать контакт с местным населением из необходимости пополнить запас батареек, с ним случилось то, что впоследствии стало дополнительным свидетельством «высшего руководства», ведущего его по жизни: лавка, которую ему указали, не работала. Отыскав торговца, он узнал, что магазин закрыт, потому что в нем провалился пол, и не откроется, пока не привезут доски для ремонта. Находящегося на краю цивилизации Гошу, не рассчитывавшего увидеть другого магазина еще минимум неделю, такой расклад не устраивал. Он вызвался добыть доски, в обмен на нужный ему товар.

Бивуак горнолыжников-интуристов, находился недалеко от их лагеря и был оборудован отличным сортиром из хорошей струганой доски. Туда и направился Гоша, прихватив необходимый инструмент. Немцы лишь недоуменно смотрели, как какой-то русский сносит их вполне ещё новый туалет. Вскоре его доски легли в пол местной лавки.

Хозяин магазинчика не скрывал эмоций, без всякой платы обеспечив Гошу целой упаковкой батареек и, как истинный кавказец предложил гостю к этому любой товар на выбор! Гоша выбрал дорогущую японскую кассету для «Юности», радушный горец широким жестом вручил от себя еще и вторую.

На Донгуз-Оруне группу настиг буран, а затем накрыло крупным градом. Трое суток они приходили в себя, ожидая погоды под перевалом Басса. Словом, время заняться внезапно свалившимся в руки богатством у Гоши было. Он просто писал всё интересное, что находил в эфире. Очевидно, этот период, проведенный под Бассой, сложился для него удачно, потому что когда измотанный, обветренный, обожженный ультрафиолетом Гоша вернулся в город, его «кавказские кассеты», произвели у современников не меньший фурор, чем представленное здесь же столетием ранее творчество художника Пиросмани.

С этих кассет, в общем-то, и началась новая ночная жизнь школьной сторожевой каморки. Вернее, захваченной Гошей части здания. К тому времени он уже считал своими киноаппаратную при актовом зале, лыжную кладовую, где хранилась его аппаратура и еще пару смежных помещений, занятых его кипучей деятельностью. Взамен он обеспечивал все школьные мероприятия и концерты качественным звуком и работоспособным оборудованием.

Несколько дней после Кавказа он только и занимался копированием, обменивая записи, пока это ему порядком не надоело. Помочь вызвались Макар с Васей, сначала предложив пере-

нести весь Гошин архив на бобину, пока тот окончательно его не заездил, а затем и техническое содействие в копировании.

Макар с Васей были теми, кого называют шабашниками, людьми, не имеющими постоянного трудоустройства. Лето они проводили в разъездах, занимались строительством, по большей части, дачных домиков, зимой подражались на расчистку крыш и т. д.

Люди зрелые, практичные, далекие от Гошиных музыкальных пристрастий.

Гошу свела с ними необходимость решения постоянно возникающих проблем – как наладить электрогитару, сконфигурировать усилитель и микшер, снять дребезжание динамиков, их познания в области электроники и звука было общепризнанным и непререкаемым.

Макар, в прошлом полярник, был списан прямо со станции какой-то комиссией, после чего ушел из института. Об этом он и теперь не мог говорить спокойно, взрываясь от возмущения на идиотизм и несправедливость.

Вася казался полной противоположностью – спокойный, добродушный, молчаливый. Вроде у него была семья, ребенок инвалид, о себе он ничего не рассказывал, лишь ворчал на расспросы, что на его оклад научного сотрудника «всё одно было не прожить...».

Суть их предложения была проста – они готовы выполнять копирование, если Гоша возьмет на себя заказчиков и содержание. За запись Макар предлагал брать по рублю со своих, по трешке со сторонних, деньги за каждую кассету делить поровну, на троих. Для Гоши, наобещавшего уже на неделю вперед, это предложение было спасением.

Так началось сотрудничество этого небольшого коллектива.

Гоша подбирал записи, в соответствии с пожеланиями заказчика, Вася «чистил и выравнивал» звук, комплектовал «матрицу», с которой Макар штамповал запись.

Особо трудиться не пришлось – непритязательный заказчик не озадачивал разнообразием, заказывая по сути одно и то же. Но, даже учитывая, что «свои» были практически всё, а крутилась одна и та же пятерка ходовых матриц, Гоша за неделю заработал больше двух месячных окладов ночного сторожа!

Наверняка, кто-то подробнее мог бы рассказать о деятельности этой ночной студии. Я же продолжу повествование о мессианской упёртости Гоши, сравнимой разве что с его раздолбайством. Из-за неё во вполне успешном предприятии возникли первые трения.

Внезапно свалившиеся доходы недолго давали Гоше чувство удовлетворения.

Пока денег ему не хватало ни на что, они были хотя бы на еду и сигареты, с их появлением не стало даже на это! Всё уходило на пополнение фонотеки, выкуп контрабандных пластинок и студийных записей, цены которых на черном рынке доходили до полтинника! Вконец обнищавший Гоша был убеждён, что и Макар с Васей должны были бы принять финансовое участие в столь неподъемном деле! И настаивал, что его приобретения – это именно то, что они должны предлагать и копировать.

В то время как Макар с Васей искренне недоумевали, зачем тратить деньги, силы и время на то, что никто не заказывает?

Все Гошины усилия по продвижению новых записей заканчивались ничем, приводя его к неутешительному выводу – если путеводная звезда, освещающая дорогу к храму, и открыла ему этот путь, то лишь для того, чтобы показать, что и на нем бывают тупики.

Ошибочной он видел саму систему отношений, на которой строился их бизнес, – люди готовы платить лишь за то, что и так хорошо знают.

...Это ведёт куда угодно, только не к постижению и созиданию, тому, что, по убеждению Гоши, было единственным путём строительства храма всеобщей гармонии!

Очевидно в администрации школы, как и комитете по образованию подобных взглядов не разделяли. Поначалу директриса, относившаяся к Гоше вполне лояльно, просто реагировала на сигналы излишне активных товарищей по поводу его сомнительной коммерции, за что тот периодически огребал предупреждения. Но скоро их бизнес далеко перешагнул рамки школы. Тогда в комитете по образованию до неё «конфиденциально» довели, что «...существование такого идолопоклоннического капища несовместимо со стенами образовательного учреждения, а потакание подобной антисоветской деятельности является не только халатностью, но и преступлением...».

...И Гоша вылетел с работы с ультиматумом в двадцать четыре часа освободить от своего хлама все помещения школы.

Обычно вспыльчивый Макар принял это известие совершенно спокойно.

– Мы ещё долго продержались! – ободрил он Гошу, захав с Васей за своей частью аппаратуры. Свою часть Гоше вывозить было некуда, он оставил всё на «лыжном складе», надеясь, что может быть, когда-нибудь...

С собой, кроме части фонотеки он забрал лишь японский компактный переносной бобинник, усиленный Васей коротковолновой платой и мощными пишущими головками.

Гоша нежно лелеял этот продукт их совместного труда, которому уже через пару месяцев предстояло поработать на высоте в четыре тысячи метров над уровнем моря.

Зачем люди, рискуя жизнью, сквозь вечные льды и снега поднимаются в горы?

Гоша был уверен, у каждого свой мотив. Кто-то скажет, что горы завораживают потому, что лишь здесь переживаешь то, чего никогда не испытать на равнине.

Но вряд ли он смог бы внятно объяснить свои мотивы даже Барклаю, с которым ему предстояло в одной связке поднимать по склонам Приэльбрусья эту «звукозаписывающую станцию», да и смог бы он сам понять чьи-то мотивы?

Гоша уходил в горы не как контрабандист, а как паломник, с верой в свою путеводную звезду, которая рано или поздно должна привести его к храму.

03. Фред и Пана

В кабинете директора фабрики «дидактической игрушки» гнетущая атмосфера становилась всё невыносимей. За час текущего совещания уже был унижен и стёрт в порошок бригадир лакокрасочного участка, доведен до трясушки главный механик. Теперь административный каток двинулся на начальника деревообрабатывающего цеха:

– Ну что глядишь как баба? – цедил сквозь зубы перекошенный брезгливой гримасой Фред Семенович. – Треплом был, треплом и остался! Ты вообще хоть что-то можешь?! Баба, баба и есть! Думаешь, не надоело тебя трахать?! В конце концов дождёшься, вылетишь по статье так, что и в кочегары не возьмут!

Фред Семенович не считал себя злым человеком, он понимал, что от этих людей, как и от него самого в сложившейся ситуации мало что зависит. Порой ему приходилось специально накручивать себя для подобных разговоров, чтобы его директорский гнев был более искренним, а внушение более действенным. Только супруга знала, как по ночам Фред вылил над опустевшей бутылкой: «Разве это коммунисты?! Это же враги! Они же специально всё разваливают! Разве это партия? «Перестройка», «интенсификация», «ускорение», а план, фонды, люди, всё к чертям?! Это же бред! Людей-то они куда денут?!»

Таким было его понимание долга и заботы о людях – держать в кулаке, спасти от царящего кругом развала всё, что ещё можно спасти.

Накал в фанерованном ясенем кабинете, где уже битый час толком так и не могло начаться такое важное совещание, казалось, достиг апогея, когда из-за скрипнувшей двери в помещение прошмыгнуло какое-то лохматое чудо. Все выдохнули и уставились на вошедшего.

«Чудо» намеревалось тихо проскользнуть к ближайшему месту, но опешив от всеобщего внимания, кивнуло, виновато улыбнулось и скромно присело с краю, водрузив на колени сумку с издевательски болтающимся заячьим хвостиком.

Пред долгим бульдожьим взглядом Фреда Семеновича предстала невообразимая копна волос, венчающая шуплого юношу в тесном пиджаке не по размеру, неведомого фасона брюках, прошитых разноцветными нитками и затертых до белых пятен башмаках, никогда не знавших крема.

Чудо звали Пана. Конечно, так его звали не все. Дворовая кличка, приставшая с детства, стала ему и именем, и званием, выданным улицей, которым он дорожил и гордился. Действительно – сколько на свете всяких Андреев или Сергеев? А Пана был такой один!

Затянувшаяся пауза смущала Пана – чего они хотят? Он действительно не виноват! Да, пунктуальность не его конёк, зная это, он примчался на фабрику задолго до срока, от нечего делать зашел в заводскую столовую, и надо же так случиться, что именно там и сегодня он столкнулся с очаровательной незнакомкой, которую заметил уже давно! И вроде всё сложилось чудно, они хорошо поболтали, но из-за чертова совещания даже не успели толком познакомиться! Ему надо было бежать, девушка ушла к раздевалкам, обещала принести на вахту телефон...

Целый час он проторчал у вахты, чтобы окончательно убедиться, что его кинули. И потом, он же не пропал, он вежливо предупредил что задержится, звонил с их собственной проходной!

Конечно, Пана был расстроен. Но знала бы юная кокетка, какие бури целый час сотрясали фабрику из-за её финтов!

Фред Семенович прожил слишком тяжёлую и долгую жизнь, чтоб не питать иллюзий и критично оценивать людей. Он помнил голодное беспризорное детство на Украине, радость первой детдомовской пайки, и извлеченные кости своих товарищей при разоблачении в их детском приюте банды людоедов. Помнил недолгое счастье заново обретенной семьи и как всю её сожгли практически на его глазах бендеровцы, как только не била и не ломала жизнь старого партийца! Сколько раз, переноса очередной жизненный удар, он с полным основанием и уверенностью мог себе сказать – держись, Фред! Хуже уже не будет! Но в самом появлении и взгляде этого молокососа явственно читался издевательский ответ судьбы: будет, Фред! Будет!

«Чего вылупился?! – возмущался про себя утомлённый этой затянувшейся паузой Пана. – Да, мне это было важно! Думаешь приятней тут на тебя глазеть?! Да пошел ты, старый козел!»

Пана ошивался на фабрике давно, но директора видел второй раз в жизни. Как-то, ему уже показывали его издали, чтоб знал, кому на глаза не попадаться. Сфера его интересов находилась в ведении начальника деревообрабатывающего цеха, с которым он и решал все вопросы на вполне взаимовыгодных условиях. Приглашение на совещание стало полной неожиданностью. Он понятия не имел, зачем его пригласили, и пришел скорее из любопытства. Ему это было не надо, он и так работал здесь уже почти легально.

Вселенскую скорбь Фреда Семеновича, вызванную своим появлением, Пана вряд ли мог разделить или даже понять. Впрочем, говоря откровенно, он и сам был не в восторге от своей внешности. Он мечтательно представлял себя в широкой футболке, фирменных джинсах небесного цвета, в реальной жизни всё это он видел лишь в телевизоре. Но это его не расстраивало, так как в своем искреннем заблуждении Пана был уверен, что даже если его наряд и не выглядит как фирменный, то уж сам он в нем смотрится ничуть не хуже.

Другое дело прическа.

Здесь мечтания разбивались о суровую реальность. Его волосы представляли собой субстанцию, имеющую одновременно частоту пакли и упругость проволоки, да ещё и стояли дыбом, совершенно игнорируя расческу.

С волосами Пана вёл давнюю, затяжную войну, в которой испытывал всё новые и новые средства, но терпел очевидное поражение.

Смирившись с неосуществимостью мечты об идеальном образе, он давно перешёл в глухую оборону, затрачивая кучу сил и времени только на то, чтобы в более или менее приличном виде появляться на улице.

Здесь он был согласен на всё, кроме того, о чем молила его мама, – подстричься.

Пусть с такой шевелюрой было небезопасно ходить даже мимо местных гопников и социально-ответственные товарищи всех мастей, радея за чистоту морального облика ленинградца, не упускали случая укорить Пану, это не удивляло.

Длинные волосы говорили о неформальном статусе обладателя, их носили или представители свободных профессий – художники, музыканты, или лица неформальных взглядов. Социально-ответственные товарищи моментально определяли подобных субъектов как неблагонадежных хиппи.

Мучиться с копной густых черных волос Пану вынуждал принцип, желание подчеркнуть свою независимость. Подстричься было равносильно капитуляции.

– Ну что ж, мне всё ясно, – нарушил наконец тяжелым вздохом Фред Семенович затянувшуюся паузу, – к вам больше вопросов нет, – произнес он загробным тоном, выпроваживая часть собравшихся. В кабинете с ним остались двое – Пана, и ещё какой-то руководитель «спортивного инвентаря» где, как ему пояснили, только что запущена линия по рыболовной снасти.

– Как вы знаете, положение в стране очень тяжёлое... – начал наконец издали Фред Семенович изложение сути данного собрания. На Пана он больше не смотрел, сосредоточив взгляд на его сумке с заячьим хвостом, но перекошенное выражение лица осталось прежним.

«Интересно, это его от меня так тошнит, или сумка не нравится?» – гадал Пана во время этой нудной политинформации. Впрочем, Фред говорил с чувством, о предательстве партии, о неизбежности грядущего краха...

Пана не видел оснований ни возражать, ни соглашаться, с подобной апокалипсической позицией. Он был законченный оптимист и считал, что все ужасы этой жизни уже перенес за годы школьной каторги. Свою «школу жизни» он закончил с устойчивым неприятием всего «обязательного» и «официального».

Лишь в ПТУ он узнал, что учиться можно чему-то действительно нужному и интересному! Пана и сейчас верил, что начавшаяся там светлая полоса в его жизни уже никогда не кончится.

Первым, как, впрочем, и последним, официальным местом его работы стали макетные мастерские судостроительного института, куда его направили как одного из самых перспективных специалистов. Предприятия сугубо режимного, с секретными «формами допусков», подписками о неразглашении и невыезде, кодовыми замками, «официальными версиями».

Но какой дух свободы царил за всеми этими страшилками! Макетчики отлично приспособили секретность, обустроив за ней свой удивительный уютный мирок, управляемый собственным сводом законов и правил, не допускающих грубых внешних вмешательств.

Производственные отношения строились просто: дизайнер – макетчик – токарь-фрезеровщик. Что до директора и прочих, то, как говорил, и, может, даже не шутил, его наставник Широков: «Да я по секретности имею право закрыть дверь и не пускать его сюда нахрен!»

За эти годы Пана участвовал в разработке катера на воздушной подушке «Бурани», строил центр связи «Урал», но всё хорошее когда-то кончается.

Стране стали не нужны ни корабли, ни институт, ни макетчики. Оказавшись на улице, он тоже не считал, что ей чем-то обязан.

– Сегодня на повестке дня один вопрос – выжить, – мрачно продолжал Фред Семенович, буравя глазами сумку с заячьим хвостиком, – в этом нам остается лишь один путь – прямые договоры и зарубежное финансирование...

Пана был окончательно сбит с толку – при чем здесь он?!

Сам «вопрос выживания» перед ним никогда не стоял. Он и раньше легко мог сделать свой месячный оклад макетчика за один день, на яйцах для художников. Только денег ему и без этого хватало, а яйца он точил лишь ради удовольствия потусоваться в «Каткином саду».

Конечно, у любого оказавшегося на улице безработного возникает проблема стабильного поступления средств. Но разве это его напрягало? Тем более что на стабильность в его время мог рассчитывать только идиот. Пана идиотом не был, а значит, и заморачиваться особо не стоило.

Куда больше раздражало исчезновение из продажи всего, от элементарного мыла до сигарет! На улицах хвосты очередей сменялись вереницами несунув, и каждый, втянув пакет с

одной и той же дрянью, уверял, что лично стащил с фабрики табак известной марки! А город вновь осваивал забытое искусство вертки самокруток.

Пана этим заниматься не хотел. Получив в институте расчет, он в последний раз зашел к фрезеровщикам и заказал пресс-форму мундштука курительной трубки.

Куда с ней было идти, как не на фабрику игрушки, где кроме прочего точили кубики и пирамидки? Здесь он договорился с начальником деревообрабатывающего цеха, платил ему по пять рублей за каждый комплект деталей деревянной основы курительной трубки, но ни решить вопрос со сборкой, ни пристроить пресс-форму не удалось. Подходящие станки были в обществе слепых, где делали розетки и выключатели, но здесь руководство не устраивала ни производительность пресс-формы, ни мизерное количество партий, попинав по кабинетам, его вообще запретили пускать на завод. С формовщиками он и напрямую договорился, и хоть те тоже были порядочными сволочами, исправно штамповали мундштуки по два рубля за штуку. Металлическую фурнитуру очень дешево сделали токари, осевшие после развала института на швейной фабрике «Волна». Сборку смогли организовать только в обществе инвалидов, рифление, отделка, упаковка...

Самого Пана подобная «стратегия выживания» повергала в шок! Кто мог представить, что для решения столь пустяжного вопроса, как курительная трубка, придется задействовать полгорода?!

Откровением стала и наглость ларечников: трубки, не дотягивавшие по себестоимости и десяти рублей, они охотно брали за двести, но выставляли по четыреста!

И поделаться с этим Пана ничего не мог, да и не хотел. Его совсем не радовала стремительность, с которой раздувался его бизнес. Он то весь день мотался по городу, разыскивая штихеля для надомников, то целыми сменами торчал на фабрике, корректируя шаблоны для сверлильного.

Не так ему представлялась свободная, безработная жизнь!

Теперь для него лишь было важно, чтобы все компоненты его производства помещались в складной сумке с заячьим хвостиком!

Закончив обзор текущего момента, Фред Семенович помрачнел еще больше, хоть это и казалось невозможным, выдержал многозначительную паузу и перешёл к изложению по существу:

– И у иностранных партнёров есть интерес в направлении нашего предприятия.

В настоящее время в Москве проходят переговоры с представителями американской компании, которая выражает готовность не только профинансировать, но и модернизировать наше производство, если мы продемонстрируем способность наладить выпуск нужной ей продукции.

Директор бухнул на стол пачку довольно потрёпанных чертежей.

– Американские представители придут в Ленинград через месяц. За это время мы должны изготовить пробную партию продукции. Я пригласил вас ознакомиться, выслушать мнения и предложения... – Проводив бульдожьим взглядом пошедшие по рукам листы, Фред Семенович закончил: – Чертежи являются собственностью американской компании, все элементы и идеи запатентованы, выдавать на руки или снимать копии запрещено.

Пане с его квалификацией макетчика снимать копии с чертежей было ни к чему. Он и так видел, что идея в них только одна, но довольно интересная. В остальном это были вполне примитивные деревянные игрушки – крокодил, дельфин, обезьянка. Их детали стягивались леской. Изюминкой был «эффект обратного движения», достигавшийся за счёт точно высвер-

ленных под разными углами отверстий, через которые она проходила. Еще даны были схемы окраски и цвета.

Ничего такого, что нуждалось в высказывании «мнений и предложений», он не нашёл.

Но ему льстило приглашение для обсуждения столь серьёзного производственного вопроса. Льстило общество солидных, седовласых мужчин. И мрачный взгляд Фреда Семеновича уже не казался бульдожьем, а скорее обременённым тяжким грузом ответственности за производство, людей и даже той стервозины, что его кинула!

Он тоже хмурился, принимая чертежи, в соответствии серьёзности момента.

Пана не любил ответственность. Мрачные школьные годы наглядно показали, как легко такие понятия, как «коллективизм», «товарищество» обращаются в компост, вскармливающий самые неприглядные побегии злобы и унижения. Он стремился отвечать только за себя и только перед собой. Но невольно поддавался деловитой обстановке ясеневое кабинета, вспоминания здешнюю столовую, ту лукавую заразу, цеха и рабочих. Он согласился, что должен для них что-то сделать! Нельзя безучастно смотреть, как гибнет в заполненном безработицей городе еще одно предприятие, дававшее пропитание многим!

Тем более что никаких проблем он не видел.

Да, сверление и сборка требовали усилий опытного цулажника, окраска предполагала некоторую технологическую подготовку.

Но он сидел в окружении руководителей двух предприятий, у которых наверняка есть кому этим заняться! У них были цеха, люди, а у Паны? Сумка с заячьим хвостиком?!

Совещание у Фреда Семеновича продлилось недолго.

Итогом стало заключение консорциума и бегство Паны из кабинета директора.

Он взял на себя выполнение всех элементов конструкции, только без сверловки и сборки, покраску взяли рыболовные снасти, сверловку и сборку фабрика игрушек.

Настоятельные попытки Фреда Семеновича его удержать, что-то еще «обсудить», «предоставить» и «обеспечить» успеха не имели. Наоборот, вызвали в нём панику!

– Видел я ваши «станки», – ворчал Пана, удирая по коридору, – за них людей ставить страшно!

Впрочем, кого он обманывал?! Конечно, сохранившиеся на фабрике рамочные лобзики могли бы стать украшением какого-нибудь музея, иллюстрируя угнетение рабочих в мрачные времена царизма. Но и на них, и на сборочном, и на сверлильном участках работали одни женщины. А попытка навязать ему целую бригаду баб привела Панау в ужас!

С женщинами у него не складывалось.

«Что им надо?! Что-то явно не так, или во мне, или в них!» – размышлял сбжавший от Фреда Соломоновича Пана. Его путь лежал к швейной фабрике «Волна», нужно было поговорить с мужиками, подробнее узнать про получаемые там выкройки.

Оценив сечение деталей, он решил, что лучше это делать лазерными резаками.

Оставалось всего-то их найти!

В отношениях полов, их взаимном влечении при всей схожести и взаимности было нечто радикально противоположное, чего он не понимал и оттого боялся.

Появляясь на фабрике, Пана всегда разыгрывал капиталиста: следил за штанами, одевал свой единственный, оставшийся с выпускного пиджак. Он тогда в двух местах пострадал от пьянки, но был практически новый!

Он считал это правильным, что этим проявляет уважение к предприятию.

А уж сегодня он готовился как никогда и был убеждён в собственной неотразимости!

Случай в столовой сильно задел его самомнение, вынуждая вновь, со всей строгостью и объективностью оценить свою кандидатуру, с точки зрения противоположного пола.

Как не расценивал он себя со всех сторон самым скрупулёзным и критичным образом, вывод был один: себе Пана нравился. «Значит, дело в них», – решил он, выходя из троллейбуса. Женщины казались ему созданиями необъяснимыми, а значит, и ломать голову над этим не стоило. Размышления уносили Пана в другие, лучшие времена.

Жизнь вообще странная штука, будто протекающая по чужому сценарию. Словно кто-то постоянно решает, где тебе быть, с кем, что делать, даже сейчас! Он послушно следовал всему, учился, работал – и что? Одна дорога до работы и обратно забирала по четыре часа жизни в день!

Теперь ему вспоминались ПТУшная юность, мастерская скульптора Круцкого, его ученик Игорюша, задумчивый и немногословный, безбашенный рокер Гоша, простой как три копейки Лешенька... Кто только не сидел за тем заляпанным глиной и краской чайным столиком! Художник никого не гнал, да и сам появлялся редко, оставляя ключи своим очаровательным натурщицам, смешной, мечтающей о сцене Кирке и деловитой, приехавшей в Ленинград из какого-то маленького молдавского городка Аннушке. На ней был порядок, чай, булка...

Как-то Пана познакомился с ними, и мастерская надолго стала его вторым домом. Где они все? Растворились в многомиллионном городе.

Дом Игорюши был снесен, в общежитии Аннушки про неё ничего не знали.

Он мечтал свою новую, свободную от диктата и обязательств жизнь начать, вновь собрав за одним столом всех, кто был ему дорог!

Но сначала нужно было обеспечить стабильное поступление средств, теперь ещё это! Жизнь будто нарочно вываливала груз всё новых и новых забот.

Пана мысленно просил прощения у Игорюши, Аннушки, всех, за то, что так и не может вырваться из железных тисков обстоятельств!

Экспериментальный цех Ленинградского института текстильной промышленности, куда привели его поиски, стоял. Пана с любопытством прошёл по пустому залу, где в три ряда возвышались громады программируемых лазерных флагманов отечественной индустрии.

Мужики из цеха приняли его доброжелательно и по-деловому. Продемонстрировали, как на мониторе рисуется лапа крокодила, разъяснили требования к материалам и, оставив им американские чертежи, он отправился на фабрику музыкальных инструментов решать вопрос с берёзой.

На партию деталей у него была неделя, остальным участникам тоже нужно было время выполнить свою часть работ.

Пана справился за три дня.

Отправляя пробную партию деталей из института текстильной промышленности, он был страшно горд собой. Шутка ли сказать – внешнеэкономическая деятельность!

На переговоры с американцами он шел торжественно, даже надел белую рубашку!

И хоть явившийся для переговоров американец ему как-то сразу не понравился, от иностранца в нем было не больше, чем в Панае, настоящим ударом стала устроенная Фредом Семеновичем презентация! Когда тот высыпал на стол груду деталей, Пана точно мешком по голове огрели!

Он готов был провалиться со стыда! В его лохматой голове никак не помещалась мысль – как эти старые козлы, за столько времени умудрились не сделать вообще ничего?

Как бы опровергая ошарашенного Пана, из груды грохнувших заготовок выкатились два шурупчика, демонстрируя, что и от себя директор игрушек что-то положил.

Да, детали Паны были покрашены, и это, наверно, был писк моды от танков Т34, что еще можно было объяснить склонностью товарищей к милитаризму.

Но на чертежах ясно были указаны цвета, которые нужно было хотя бы обозначить!

Поправив очки и разведя руками над зелёной кучей заготовок, американец недоуменно произнёс на родном ему языке:

– Я не вижу предмета переговоров, и не понимаю, зачем меня пригласили!

Красный от стыда и обиды Пана уже не слушал деловитую речь Фреда Семеновича «о трудностях и перспективах». Ему было слишком стыдно.

Стыдно перед мужиками из цеха, бесплатно сделавшими для него программу под будущий заказ, стыдно перед этим жлобом американцем за то, что сидел напротив него в этой компании, стыдно перед Игорюшей и Аннушкой.

Разве он не мог обойтись и без двух седых придурков?

Груз вины и стыда давил всё нестерпимей, словно это он собственными руками душил фабрику, выгоняя на улицу сотни людей!

Да, он может сделать цулаги, собрать изделия, но пусть этот старый козел сначала разъяснит, на кой лично Пана и его сумке с заячьим хвостиком нужны эти «американское финансирование» и «модернизация»!

Не дожидаясь итогов переговоров Пана покинул кабинет директора. Для себя он всё решил: он завязывает с «внешнеэкономической деятельностью».

И займется по-настоящему важным делом – поиском Игорюши, Кирки и Аннушки.

04. Последнее творение мастера

Кому неведома тоска по друзьям юности! Только Пана всерьез лелеял надежду вернуть прошедшее время. Став официальным безработным, он считал себя абсолютно свободным и намеревался строить дальнейшую жизнь исходя исключительно из собственных предпочтений. С нежностью он вспоминал свои творческие эксперименты – не пойти ли ему опять в ученики скульптора?! Ведь у него неплохо получалось.

Но было в его воспоминаниях и нечто, от чего пробирал холодок: «...если затеваешь полемику с Создателем, будь готов, Он может и ответить...» – звучали в памяти слова, полупутья-полусерьёзно брошенные седым мастером юному ученику.

Мастерская скульптора Крутского находилась рядом с общежитием ЛФЗ. Местом хорошо знакомым многим представителям мужской половины левобережья.

Очевидно, этим объяснялось и появление здесь Аннушки. Она приехала в Ленинград из Молдавии с мечтой учиться на художника.

Реальность оказалась суровой. Все художественные специальности набирались только по городской прописке. Аннушка попадала в обидный разряд «лимита» и не имела возможности выбирать себе профессию. Её путь лежал на фарфоровый завод в качестве фармовщицы.

Однажды они встретились, художник и Аннушка, и по ведомой лишь ему прихоти Крутский предоставил потерянной в многомиллионном городе молдавской девочке убежище – свою собственную мастерскую в полное распоряжение.

Очевидно, Крутским руководил не голый альтруизм. Аннушка вызвала в художнике явный профессиональный интерес, её образ воплотился в целом цикле женских портретов. С её появлением поменялся и статус мастерской, преобразовавшейся в студию.

Другим «обитателем» новообразованной студии, был ученик скульптора Игорюша. Серьезный, немногословный, мало коммуникабельный Игорюша по меркам Паны был слегка тормознутым, однако это в нём и привлекало – цену компанейщины Пана усвоил хорошо.

Окончательную конфигурацию этот маленький мирок обрел с появлением Кирки. Был ли в этом некий замысел художника или просто игра судьбы, но с её появлением мастерская-студия зажила бурной жизнью, вращающейся вокруг выстроенного маэстро многоугольника.

В отличие от Аннушки, Кирку взяли натурщицей на конкретный проект – в ней скульптор видел прообраз юной Надежды Крупской, узловой фигуры его монументальной «ленинианы».

Трудно представить двух столь же разных представительниц своего пола, какими были разумная хозяйственная Аннушка и беззаботная, безалаберная Кирка, составлявшие два полюса этого маленького женского мира. Хозяйкой в нем однозначно была Аннушка, считающая мастерскую своим домом.

Однако и питерская Кирка по своим причинам была очень заинтересована в таком убежище на левом берегу Невы. Так что девушкам пришлось уживаться вместе.

Со стороны их взаимоотношения казались вполне доброжелательными, даже дружескими, что, в частности, подчеркивалось нарочито-прохладным отношением обеих к Игорюше. Что, впрочем, того мало трогало.

Но и Игорюша, и Крутский не могли не замечать опасного духа соперничества двух юных львиц на столь ограниченной территории.

Это проявилось и в количестве посетителей некогда необитаемой и тихой лаборатории мастера. Так, например, Пана, частенько здесь бывавший поначалу считался гостем Аннушки, а рокер Гоша, познакомившись с симпатичной танцовщицей, изначально относился к возды-

хателям Кирки. Но довольно скоро всякого непонятого народу стало так много, что подобная «классификация», как и сама форма, их противостояния, утратили всякий смысл.

Бог знает, с каким чувством на всё это безобразие смотрел седой мастер. Он никого не гнал. Впрочем, и Кирка, и особенно Аннушка сами изо всех сил старались блюсти интересы художника и не мешать своими бурными отношениями его работе.

Но пожилой скульптор появлялся всё реже, часто надолго пропадал, ссылаясь на приступы астмы, и всё реже вставал к с танку.

Что вовсе не облегчало личную жизнь девушек, скорее наоборот.

Наконец им пришлось вступить друг с другом в переговоры, по выработке приемлемой формы сосуществования.

Выработанный мирный договор, окончательно утверждавший правила матриархата на данной территории, предусматривал отказ от формы деления посетителей на «Аннушкиных» или «Киркиных».

Вместо этого согласовывались «близкий» и «приближённый» круг из общих знакомых, которым будет дозволен вход в студию. В отношении «дальнего круга» принимался ряд ограничений.

В «близкий круг» отбирались кандидаты в равной степени, интересующие обеих девушек, и, следовательно, обе признавали равные права на его членов в полной мере. «Приближённый» включал потенциальных кандидатов в «близкий», переход в который был возможен тоже только с их общего согласия.

Конечно, данный договор нужен был девушкам не для регламентации личной жизни. В её согласовании они не нуждались. Он был необходим для выстраивания отношений меж собой и не предусматривал более широкого разглашения.

С негласным, но вполне официальным утверждением матриархата маленькое королевство обрело все черты «мадридского двора» с привилегированными и «двором», интригами, собственным сленгом, доступным лишь посвященным.

Утратила былую демократичность и традиционная Аннушкина чайная церемония, обретя особый смысл.

Пожалуй, маэстро вполне мог претендовать на мировое признание за одно лишь воплощение в своей студии столь изошренного коварства.

Но, например, Пана, которому довелось пройти водоворот этого смертельно опасного урагана, в простоте душевной так ничего и не заметил.

Бог знает, куда бы всё это завело, если бы однажды, без видимых причин, не утруждая себя излишними объяснениями, Кирка не собрала вещи и навсегда не покинула студию.

Узнал ли об этом сам Крутский? Во всяком случае, до Кирки так и не долетело известие о его смерти.

Как никто из многочисленной толпы провожающих в последний путь заслуженного скульптора не обратил внимания на одинокую скорбную фигурку раздавленной горем Аннушки.

Лишь когда члены сформированной ленинградским союзом художников комиссии по оценке наследия известного мастера вступили под своды его мастерской, перед их изумлённым взором предстало трехметровое изваяние молодого Ильича, с искренним, наивным увле-

чением влекущего куда-то свою спутницу – яростно изрубленную кувалдой до каркаса глыбу глины в форме женской фигуры.

05. Другие люди

Воистину непостижима тайна бытия, где кому-то выпадает райский тропический остров, чтобы явиться в мир внучкой и наследницей Онасиса, кому дождливый, туманный Альбион, а кому-то щедрое солнце Эфиопии!

Впрочем, какое до этого дело самому новорожденному, что в Африке, что в Европе?

Ведь появился Он, единственный и неповторимый, он чистый лист, центр вселенной!

Ему только еще предстоит узнать, что кроме него есть другие люди, которые разделяются на родных и чужих, детей и взрослых, мальчиков и девочек, делятся по этническим, языковым, социальным признакам, нациям, гражданству.

Кто осмелится очертить весь объём записей, уже внесённых в этот «чистый лист индивидуальности» ещё до нашего рождения? И затем, вследствие места, окружения? Кто оценит их глубину, значимость, причины и следствия?

И что там останется на долю самой вашей «индивидуальности»?

Но сколько бы ни трудились мудрецы, лишь мистики берутся объяснить упорство, с которым одни и те же люди штурмуют одни и те же грабли.

Сама Кирка не смогла бы внятно объяснить ни своё появление, ни внезапное исчезновение из мастерской Крутского, и уж конечно, как случайная беседа в привокзальном кафе заведёт её на ледники Эльбруса.

Что толку, что задолго до рождения Кирки, сердобольный ангел уже вывел на её скрижалях: «Бойся своих желаний! Они могут осуществляться!»

Может, при её рождении произошел «вселенский сбой», вынесший мозг астрологам, а может, её натура просто стала жертвой некоего селекционного эксперимента, «итога замыслов Петровых».

И в столь странной форме природа являла многовековой опыт выживания, «генетической памяти» поколений строителей и защитников этого города?

Во всяком случае, мама называла её единственным коренным жителем в их районе. Её предки до революции держали магазин и лавки на левом берегу Невы, только блокаду пережила одна эвакуированная мать. Отец тоже был из детдома, но родителей не помнил. Они обосновались в трехэтажном бараке на правом берегу. Этот барак Кирка не застала, появившись на свет уже в воздвигнутой на его месте новостройке. Но дореволюционные дома своей родни на левом берегу, она знала хорошо. Иногда они бывали там с мамой на троицу, иногда она бродила по старому городу одна, повинувшись первобытному инстинкту общения с предками. Они ходили сюда как на кладбище, оставляя на фасадах ветки верб и пшено голубям. Других могил или родственников у них не было.

Впрочем, кто в Ленинграде мог похвастать большой семьей с бабушками и дедушками?

У Киркиных одноклассников и отцы-то были, дай бог, у одного из пяти.

Еще не родившись, Кирка уже была участником очередного социального эксперимента. При массовой застройке правобережных районов Весёлого поселка, таких как она, ожидающих своей очереди появиться на свет в новых благоустроенных квартирах, было тысячи. Понадобилось совсем немного времени, чтобы застроенные типовыми многоэтажками кварталы для набегов на соседние стройплощадки собирали ватаги до сотни малолетних головорезов.

Словом, у Кирки было счастливое детство. Ей достались горы песка до неба, бесконечные лабиринты стройплощадок и огромное количество сверстников!

Всему этому приходилось соответствовать.

С детства её главным оружием были открытость и коммуникабельность. Она легко и свободно входила в контакт с кем, где и когда угодно. Своим главным недостатком она считала трусость. Этого порока улица не прощала, раз за разом рентгеном просвечивая каждого, выявляя его истинное место в дворовом табеле рангов.

Кирке крупно повезло, никто не догадывался, какая она трусиха. В одних страх и волнение выдавал багрянец по лицу, в других пробивающая трясучка, оцепеневшая от ужаса Кирка лишь чуть бледнела, у неё немели пальцы, но со стороны ничего заметно не было. Что помогло ей в своей уличной стае занимать то место, какое её устраивало.

Правобережье никогда не относилось к престижным районам – бордели, кабаки, балаганы добропорядочные граждане издревле предпочитали видеть по эту сторону Невы.

Но если и существует воспетый пушкинскими лицеистами «гений места», то видимо, «правобережный Локи» без энтузиазма принял дар городских властей, взрастивших на его бывших пустырях для кулачных боев такое количество бойцов!

Происки ли хитрого Локи, придумавшего детям первого послевоенного поколения новую войну, или естественный ход вещей, но сплочённое уличное братство Весёлого поселка стало быстро и неотвратимо таять. Отказывалась с этим мириться только Кирка!

Её ровесницы давно оттачивали коготки, осваивая в спаррингах приемы чувственности для серьёзной конкурентной борьбы, пока она с мальчишками носилась по чердакам и подвалам. Со стороны казалось, что на Кирку этот природный зов не действует. Или оттого, что парней ей всегда хватало, их всех она искренне любила и, провозжая в армию, безутешно рыдала над каждым, не представляя, как можно из них выбирать, а может по другой, более ментальной причине, но для своих «чувственных изысканий» Кирка избрала иной, довольно странный путь.

Еще в раннем детстве, штурмуя горы строительного мусора с полусотней таких же малолетних оборванцев, маленькая Кирка поняла, что никогда не добьется достойного места в человеческой стае, если будет тягаться с мальчишками. Что для этого есть другие, более эффективные средства.

Как любой ребёнок пытается манипулировать родителями, так она училась манипулировать сверстниками в поиске своего места под обоими этими солнцами.

Дети во дворе часто затевают различные игры, мальчишки одни, девчонки другие, Кирка была из тех, кто предпочитал мужскую компанию.

Но свою роль в ней как девочки, или «своего парня» выбирала осознанно.

Ей вообще до определённого времени как-то удавалось совмещать несовместимое: нежную привязанность к матери, отцу и дружбу со всеми гопниками округа, хорошее поведение, успеваемость в школе и участие чуть ли не во всех погромах и драках района!

Ни мамыны друзья, ни школьные учителя никогда не поверили бы, что этой миловидной, воспитанной, интеллигентной девочке «из полной семьи» сразу после школы нужно отнести два литра спирта в подвал на Дыбенко, чтобы местные поддержали «её мальчишек» в разборке на Овсеенко.

Кирку вполне устраивало, что не только учителя в школе, даже мальчишки во дворе не догадывались, кто здесь главный!

Но детство, как всё хорошее, когда-то заканчивается.

Для Кирки его завершение началось трагично, с болезни и смерти отца.

Невозможно описать, каким это стало для неё потрясением! Что происходило в её симпатичной головке! Обида на жутко несправедливый мир, на мать, которая наверняка могла бы сделать для отца больше, неготовность смириться с утратой такой необходимой ей связи, Бог знает, что руководило Киркой, когда она стояла перед зеркалом, задумывая свой план.

Как любая ленинградская девочка из приличной семьи, Кирка обязана была что-то посещать, для неё это были бальные танцы. Ей нравились танцы, учителя отмечали хорошие физические данные, природную грацию, пластику. А что еще «слабому полу» может послужить столь верной опорой в жизни? Так, когда ночной рейсовый автобус на Народной остановила распоясавшаяся банда пьяных гопников, опешившим пассажирам показалось, что девушка с чехлом от бального платья, на первом сиденье просто встретила старых знакомых! Пообщавшись минут пять, она убедила их покинуть автобус, они расцеловались и обменялись телефонами. Затем побледневшая девушка встала, подошла к распахнутой двери, онемевшими пальцами порвала всученные ей листки, яростно их швырнув, и плюнула в лицо ночному гор од у.

Кто в её годы не осознает, каким даром вознаградила их природа? И сколь разрушительным оружием он может быть, в первую очередь для неё самой. Но кто не мечтает испытать его в полной мере?

Бог знает, о чем думала Кирка, когда перед зеркалом решила на свою «первую пробу клинка»! Но у неё и в мыслях не было обнажать его во дворе, среди сверстников!

Подходящей жертвой она выбрала друга семьи, дядю Валеру.

Он много участия принимал в последние месяцы жизни отца, когда его уже выписали из больницы, помогал с похоронами, и после оставался наиболее доступным Киркиным планам. Она придумывала их как многоходовую детскую игру, с многовариантными задачами, рассчитанными на неопределённый срок.

В знакомство с неведомой взрослой жизнью Кирка вползала как кошка, никогда не видевшая улицы, – осторожно, крадучись, прижав уши.

Она и предположить не могла, что на то, чтобы уложить дядю Валеру в свою постель, ей понадобится всего-то четыре дня! Даже огорчало, что он оказался такой легкой добычей! Но того ли она добивалась? И вообще, что ей было нужно? Кирка и сама не знала.

С недоумением слушая его сбивчивые «мольбы о прощении», «внезапном помутнении», раскаянии, невозможности и недопустимости всего произошедшего, Кирка думала о том, что подобное «помутнение» могла бы устроить ему когда угодно, удивляясь, насколько природа посмеялась над «сильным полом», начисто лишив его сообразительности!

В качестве «моральной компенсации» Кирка получила от дяди Валеры довольно увесистый золотой браслет.

Но была ещё и мать, которая, заподозрив неладное в поведении дочери, отыскала браслет, от которого Кирка не успела вовремя избавиться!

Той и признаться ни в чём не пришлось, мать всё додумала за неё, подняв жуткий скандал! Первое исследование «взрослой жизни» для Кирки обернулось ролью жертвы, пришлось, как нашкодившему котёнку, вновь, поджав уши, забиться в угол. Что оставалось? Ведь она была всего лишь маленькой девочкой.

Однако наступившая осень, низким, тяжелым питерским небом отражаясь в маминых глазах, говорила, что детство кончилось.

Куда больше матери Кирка боялась улицы!

Как воспримут разгоревшийся скандал сверстники?! Как он отразится на её жизни?!

К счастью для Кирки, улица всё воспринимала правильно.

Здесь царило чёткое разделение – есть мир взрослых со своими законами и правилами, и есть их мир с другими законами и правилами, и оба этих мира никак друг с другом не пересекаются. Для мальчишек произошедшее с Киркой было событием из другого, непонятного мира взрослых, а значит к ним никакого отношения не имеющее. Для девочек служило дополнительным подтверждением одного из тех же непреложных правил улицы, которые каждая знала наизубок с четвертого класса – не живи где живёшь!

Для наученной горьким опытом Кирки это обрело особый смысл.

Улица, скреплённая детским братством, была для неё семьёй, тем более значимой, чем дальше они отдалялись с матерью. Всеми силами Кирка старалась хранить это братство, и уж конечно, здесь ей было не до чувственных экспериментов!

Но исполняя роль главной львицы своего прайда, она оставалась девушкой.

Ей необходимо было влюбляться и быть любимой, необходимы были эмоции приключения, переживания, необходимо нравиться и чувствовать это.

У Кирки был для этого Питер. Дискотеки, студии, кафе на левом берегу.

Нева с её разводными мостами не просто делила город на разные берега, она поделила два Киркиных образа жизни, разделяя их каждую ночь миллионами тонн пресной воды.

Встреча со скульптором Крутским, предложение работы, студия дали Кирке всё, о чем она только могла мечтать! Жильё, избавление от материнской опеки, финансовую независимость, свободу от уз правобережного «братства».

Конечно, всё это приходилось делить с Аннушкой.

Но была и другая спутница в её «левобережной жизни», Лилька.

Кирка хотела танцевать, мечтала о сцене. Только экзамены она провалила, подойдя к ним излишне самонадеянно. Да и конкуренция впечатляла! В Ленинград приезжали учиться со всего Союза! Лилька была на три года старше из Донецка, и уже успела поработать на профессиональной сцене, что Кирке, имеющей за плечами только подиум, внушало особое уважение!

Мама всё твердила про железнодорожный, где остались связи от отца, что, по её мнению, с Киркиным «съехавшим аттестатом» имело особое значение, дочь это не вдохновляло.

Девчонки как-то сошлись, и многие левобережные заведения надолго запомнили двух оторв, отжигающих весьма профессионально.

Лилька уже второй год жила в Питере, и всё ей здесь порядком надоело.

– Господи! Какому же идиоту пришла в голову мысль назвать Ленинград «культурной столицей»?! – сокрушалась Лилька за бокалом шампанского, после очередной успешной эвакуации. – Где еще встретишь столько тупых, неотесанных болванов?! Ленинградцы – грубые бесчувственные люди. Пока не приехала сюда, я даже и представить не могла, до чего душевные, отзывчивые люди живут у нас в Донецке! Нет, хватит с меня этого вашего Питера, буду перебираться в Москву!

Кирка о согражданах судить не могла, но к стороннему взгляду относилась уважительно.

Лилькины рассказы о Донецке, труппе эстрадного танца, навели её на мысль – если в Ленинграде на пути к сцене её ожидает такая серьезная конкуренция, то может, стоит для начала попытать счастья в Донецке?

И напросилась к той в компанию, когда Лилька собралась навестить родню. Заверив, что юг Украины не понесёт катастрофического урона, от появления там двух таких красавиц!

Так, внезапно закончилась её карьера натурщицы. Собрав чемодан, Кирка рванула в Донецк.

Лилька была родом из небольшого шахтёрского поселка Донецкой области.

Её с Киркой появление здесь ознаменовалось пышным застольем и бесконечными походами в гости, с такими же пышными застольями. Сначала Кирке всё это казалось каким-то затянувшимся торжеством, пока она не поняла, что здесь каждый день так живут.

Поначалу она пыталась держаться раскованно и непринужденно, не видя в этом каких-либо проблем, но беда уже подкрадывалась оттуда, откуда она и представить не могла.

– Ну ладно Лешка, он у нас известный ловелас, но дядю Жору ты зачем обидела?! – выговаривала ей уже на другой день Лилька. – он нас покушать пригласил...

– Покушать?! Да у вас тут не «кушают», у вас жрут! – огрызнулась та, для которой подобный образ жизни мог лишить смысла всю поездку.

При взгляде на эту повседневную свинину, болгарские перцы, патиссоны, и кучу всего такого, чего приехавшая из нищего Ленинграда Кирка и в глаза не видела, невольно вспоминались мамины ежемесячные авоськи с «заказом» из синюшной курицы, пачки чая да зеленым горошком в нагрузку. А просторные шахтерские квартиры, частные дома по два на семью, вызвали вопрос: «Неужели мы в одной стране живем?!»

Проблема, с которой столкнулась Кирка, вползла в её жизнь тихо и незаметно, с приятным мягким тембром южнорусского говора.

Эта «двухтональная» манера говорить, словно песнопение, заботливо сопровождающее здешние разговоры, будто обволакивала ватой её чуткие, отточенные на питерских мостовых эмоциональные рецепторы. Она не слышала за ней самих эмоций, не чувствовала собеседника.

Но что еще хуже, понятия не имела, как здесь реагируют на её собственную речь! Её безэмоциональная, однотонная манера излагать мысли явно действовала на местных абorigенов как-то побудительно, а привычная форма их изложения и вообще делала процесс общения невозможным, по крайней мере, с мужской частью населения!

– Да вы что! Я же пошутила... – бормотала Кирка, вытаращив глаза, когда в очередной раз полстола вскакивало из-за какой-то её нечаянной глупости.

Приехать делать карьеру и почувствовать себя в новой среде не только глухой, но и немой было для общительной Кирки катастрофой!

– Оль! Я как-то не так говорю? – приставала Кирка к своей новой подруге, хозяйке дома, половину которого ей выделила гостеприимная Лилькина родня.

– Что не так?! – удивлялась та. – Говоришь литературно, правильно...

– Да не «что», а «как»! – пыталась объяснить Кирка.

Подобное определение она уже слышала от учителей про одного новенького из Казахстана, его разговор так же напоминал дикторов центрального телевидения, как блатная феня местных бандитов «русский» народов крайнего севера на ленинградских стройплощадках! В свободной разговорной форме, что ленинградская медлительная ирония, что московское тараторение не всегда вписывалось в «правильные», «литературные» рамки.

– Понимаешь, когда я говорю, меня не понимают, реагируют неправильно! Я ведь женщина, я чувствую! Но не могу же я себя со стороны слышать?!

К её счастью Ольга была родом из Одессы, её говор не имел этой «южнорусской вязкости», уроженки двух портовых столиц отлично понимали друг друга.

– «Не понимают!» – фыркнула Ольга. – Вот что я тебе скажу. У нас здесь люди простые. Ты приехала вся из себя такая столичная цаца! Так не сиди, как сушеная камбала на привозе! С людьми надо по-человечески – шути, улыбайся! Будь проще – и люди к тебе потянутся!

– Тебе легко говорить! – печально вздохнула Кирка. – У вас в Одессе разговаривают как шутят, а у нас в Питере шутят как разговаривают! Здесь мои шутки юмором не считают, – в чём она уже убедилась наверняка, так в том, что «шутить» ей не стоит!

– Что ты хочешь? – вздохнула Ольга в ответ. – Мы сами тут друг друга не понимаем! Я приезжаю к западенцам – ни черта понять не могу! А ты вон откуда приехала!

Кирка и сама сознавала всю бесплотность подобных выяснений.

Разговорная речь с её мимикой, строем – это лишь верхушка айсберга, под которым отношения, философия, всё, что называют ментальностью. Копировать это невозможно.

Вскоре она столкнулась и с другой гранью этой «южнорусской ментальности».

– Ерунда какая-то! – ворчала сбитая с толку Кирка после посещения Донецка. В принципе можно было устроиться и в студию, и в труппу, но за всё надо было платить. – Это я должна ещё и за свое рабочее место платить?! – изливала она душу Ольге. – Что же у вас тогда бесплатно?!

– Всё бесплатно, – невозмутимо отзывалась та, занимаясь своими делами, – у нас как у вас и образование, и медицина, всё бесплатно. Но ведь у тебя самой отец болел? Вы что же, врачей не благодарили? За вызовы скорой не платили?

– Платить за вызов скорой?! Никогда! – сухо отрезала Кирка.

Впрочем, её следующее посещение Донецка прошло куда более удачно. Кирку посмотрели, и она понравилась! Из-за того, что труппа в эти дни работала в Львове, официальный кастинг перенесли на две недели. Но главное, она познакомилась с замещающим художественного руководителя донецкого театра, Андреем.

Андрей учился в Ленинграде, возможно, поэтому к её «северной ментальности» отнёсся более снисходительно. Кирку как прорвало. Она уже устала от необходимости контролировать каждое слово, изнывала от своей жизни в поселке, и испытывала счастье от одной возможности поговорить.

Их первая встреча закончилась очень бурно.

Для Кирки Андрей был огромной удачей. В посёлке она больше не могла, нужно было перебраться в Донецк, и как? Без жилья, без средств?

Андрей был противником гостиниц и сам снял для неё квартиру с прекрасным видом.

Стоило Кирке пошутить, что единственно, чего ей теперь не хватает, так это подозрительной трубы, как семидесятимиллиметровая подозрительная труба была доставлена из Киева!

Что, впрочем, напомнило Кирке, что она не дома, и несколько охладило ту эйфорию, в которой она пребывала с момента их первой встречи.

Она неплохо изучила, как работают медлительные жернова мужских эмоций от момента встречи с прекрасной незнакомкой до пробуждения там самых тёмных собственнических инстинктов. Легко распознавала стадии этой «эволюции».

Но Андрей не подходил не под одну из её схем.

Иногда, даже в самые эмоциональные моменты близости она останавливалась, отстранялась, и удивленно смотрела на него, сознавая, что она его не чувствует, не понимает, не может предсказать!

Все её «зонды» разбивались о каменное спокойствие очень уравновешенного человека, стены, за которой угадывался жар совсем иной, неведомой ей личности!

Недолгое Киркино счастье закончилось с появлением жены Андрея, выследившей их как-то около дома.

Если бы существовало такое понятие, как «женская солидарность», то симпатии Кирки всецело принадлежали бы несчастной, доведенной до истерики женщине.

Но уж кто-кто, а Кирка точно ничем не могла помочь ни ей, ни двум его детям, про которых Андрей никогда не рассказывал. Единственное, что она могла для них сделать, – тихо, незаметно удалиться, оставить наедине с надеждой, что они договорятся...

Кирка искренне желала этой женщине успеха, даже понимая, насколько мало у той на это шансов.

В лице Андрея, утонченного, интеллигентного человека, с его непробиваемым спокойствием и уверенностью, Кирка столкнулась с каким-то древним, первобытным проявлением мужской природы, вызывающим в ней одновременно и восхищение, и страх!

Перед ним она чувствовала себя беззащитной, как в детстве, – маленьким, слабым котенком, забившимся в угол, поджав уши, перед надвигающимся катком, который неминуемо её раздавит!

Стоила ли того самая блистательная карьера на подмостках донецкого театра?!

И главное, была ли она к этому готова?

Кирка понимала, что как в романах, время на раздумье ей никто давать не будет. Ответ нужно дать, здесь, сейчас, и себе самой! И она приняла решение.

Надеясь, что тихо удастся сбежать из города, без неприятных сцен, она купила билет до Ленинграда и собрала вещи. Но тут, на месте преступления её и настиг Андрей.

Скандала не получилось. Со стороны это скорее напоминало несколько напряженную беседу двух довольно сдержанных людей:

– Ты не можешь уехать. Тогда я не буду жить, я выпрыгну из окна! – закончил изложение своих аргументов Андрей.

– Прыгай! – внешне так же спокойно ответила побледневшая Кирка, вцепившись в ручки сумки онемевшими пальцами. Тот медленно поднялся, тяжёлой походкой подошел к окну и, недолго постояв, резким движением выбросился в проем.

Лишь крики за окном привели в чувства оцепеневшую от ужаса Кирку. Схватив в охапку приготовленные сумки, она бросилась на вокзал, причитая:

– Господи! Только бы он был жив! Господи! Господи! Хоть бы он так башкой треснул, чтобы у него мозги на место встали! Господи! Только бы он был жив! Господи! – Всю дорогу до родного города ни о чём другом думать она не могла.

– Кирка! Тысячу лет тебя не видел! – услышала, подходя к метро, проплакавшая всю дорогу Кирка знакомый голос Гоши-рокера. – Да ты, я вижу, замуж собиралась?

– А ты откуда знаешь?! – насторожилась та, уже отвыкнув от вольности питерского общения.

– Ну как, такая красивая, и с вещами! Хочешь, пошли в кофеюшню, расскажешь, где была, я угощаю!

– Хочу! – взвыла она от счастья, почувствовав наконец родную «языковую среду». – Хочу кофе! Двойной! С коньяком! А то от вина меня уже тошнит!

За столиком в кафе она рассказала о своих приключениях, кроме, конечно, своего романа с Андреем.

– Так я не понял, – удивился Гоша, – если у тебя всё так удачно складывалось, почему ты уехала?

– Я бы всё равно там не смогла... – вздохнула Кирка, задумавшись – понимаешь, там другие люди!

06. Высшая ценность

Кирка двое суток пребывала в состоянии шока, заглушившего все эмоции. Случайная встреча с Гошей, может, и вывела её из оцепенения, но совсем не облегчила груз душевных мучений. Глядя в его открытое, наивное лицо, Кирка изнывала от чувства вины и перед ним, и перед маэстро Крутским, о смерти которого узнала только сейчас.

Возможно, их беседа в придорожном кафе после пережитых потрясений заставила Кирку по-иному взглянуть на окружающее, а может, ей было всё равно, лишь бы что-то поменять в жизни, в любом случае в тот день неожиданно для самого Гоши его горная экспедиция обрела еще одного участника. А Кирка неожиданно для себя сменила подмостки Донецкого театра на плато вечных льдов Северного Кавказа!

Каждый опирается на свои ориентиры, взгляды, представления о том, что является правильным и ценным. И если «материальный» мир относительно прост, его оценивают за нас, «человеческий» куда более неоднозначен. В нем и такие общепризнанные «бриллианты», как доброта, отзывчивость, чуткость, бледнеют в ряду славных «добродетелей», великих полководцев и ведущих руководителей, а утонченность, интеллигентность не пригодятся даже бригадиру на лесоповале.

Не нам, заблудшим меж желаемым и действительным, указывать путь другим. Да и кому чужие ошибки мешали делать собственные? Тем более что природа отвела на них не так много времени. И кто не считает это время счастливым?

Мог ли вообразить Пана, сколь неподъемную задачу он затеял в своем наивном желании вновь собрать за одним столом всю братию покойного Крутского? Он не обладал ни Киркиной неуёмной целеустремленностью, ни Гошиным раздолбайством, но, возможно, острее других воспринимал родство и чужеродство в окружающих.

Выброшенный из социальной жизни Пана чувствовал себя вполне комфортно, шагая в расшитых цветными нитками штанах по питерским улицам. Это лохматое чудо с раскладной сумкой с заячьим хвостиком можно было встретить всюду. Он то «собирал урожай» по ларечникам, то развозил товар или пер заготовки надомникам.

Сейчас подобную деятельность назвали бы «предпринимательство», но в стране развитого социализма понятия такого не было. Сам Пана считал себя «безработным».

Власть в любой момент могла привлечь его за тунеядство, но власти было не до него, да и «привлекать» к тому времени пришлось бы половину города. Однако, как у всякого безработного, подсознание сверлил вопрос: почему? Как объяснить годы школы, училища, обретенную специальность, работу, отчего всё разом оказалось ненужным, напрасным? И что будет дальше?! Многих сознание собственной не востребоваемости угнетало. Но не Пану! В их взаимоотношениях с обществом превалировали его собственные, выстроенные с юношеским максимализмом принципы.

Как большинство сверстников, Пана рос без отца, всей его семьей была мама, лишь иногда роль бабушки брала на себя соседка с этажа ниже.

Когда тот пошёл в ясли, а затем садик, мама устроилась туда няней. Денег не хватало, и мама взяла в том же садике ставку дворника. Вся жизнь он был с ней – в группе, в песочнице, на дорожках.

Мама ко всему относилась серьёзно, будь то подметание дорожек, уборка снега или защита садика от стай детворы, стекающей вечером на пустые детсадовские площадки.

Может, слишком серьёзно.

Ковыряющемуся вечером в песочнице малышу было невдомёк, что на самом деле он уже находится в эпицентре сложной социальной жизни.

Не в каждом питерском квартале есть школа, но садик есть в каждом.

Именно по детсадам и проходили сферы влияния дворовых подростковых стай.

Отправляясь с мамой и огромным букетом цветов в первый класс, он и представить не мог, с какой плотоядной радостью ждет школа сына дворничихи.

Школа сразу стала для маленького Паны школой жизни во всех отношениях.

Те, кого мама гоняла метлой с детсадовских качелей, встретили его как родного.

С момента первого появления Пана умудрился иметь во врагах почти весь цвет школьной элиты.

Конечно, Пану обижали. Лиловый от «слив» нос, синяки, рваная форма очень тревожили маму.

Милая, добрая женщина корила только себя за то, что растила сына без отца и не смогла воспитать «настоящего мужчину», за то, что не умела быть с ним строгой, никогда не наказывала, не подготовила его к жизненным трудностям.

Каждый раз снова и снова заводила она с Паной «серьезный разговор» о том, что не надо быть рохлей, надо учиться драться, «давать сдачи».

Мама обошла весь район, переписав все спортивные кружки и секции.

Однако Пана к её усилиям отнёсся без энтузиазма. В свои годы он уже понял то, что не могла понять его мать, – враг Паны не сосед по парте, с которым он не поделил стирательную резинку, его враг – система, как раз и построенная на главном принципе: не прощать никаких обид.

Пана прощал маме эти разговоры, её заблуждения, непонимание, работу, обиды.

Просто потому, что это была его мама. Главной его заботой было оградить маму от школы, а школу от мамы.

Вмешательство мамы в школьную жизнь всегда кончались для него плохо. Дни, когда ему сильно перепало «по репе» и врач-травматолог вместе с направлением на рентген выписал справку для обращения в суд, стали самыми черными днями его жизни. На созванном по этому вопиющему случаю школьном собрании Пана узнал, что он провокатор, подлец и вообще коллектив сильно запустил его воспитание.

Если его обидчиков ругали явно формально, то Панае досталось по полной и от души.

Одним из принципов, выработанных Паной для выживания и ставшим частью его природы, была способность уходить от любого спора. Кроме того, что он вообще не считал нужным кому-либо что-либо доказывать, он не испытывал потребности в столь естественном для сверстников полемическом самоутверждении.

Достигалось это простым, но очень эффективным приемом – он во всем соглашался с оппонентом.

– Пана, ты что трусишь? Тебе слабо? – кричал забравшийся на забор одноклассник по кличке Урри.

– Трушу. Слабо, – чистосердечно признавался Пана, которому совсем не хотелось туда лезть.

– Ты что, дебил? – орал возмущенный сосед по парте, которому Пана нечаянно придавил ногу...

– Точно, дебил! – подтверждал его предположение Пана. – На медкомиссии, правда, спорили: я дебил или кретин? Но сошлись на дебиле.

Язык у Паны был подвешен хорошо, соображалка работала быстро, и в подобных перепалках, на своих условиях, он не проигрывал. Отказ от защиты своих позиций ставил оппонентов в тупик, и тема закрывалась сама собой.

Так, в выпускном классе на комсомольском собрании за отказ мыть стёкла в классе, систематическое уклонение от общественной жизни школы, неучастие в жизни коллектива и как выяснилось, утрату комсомольского билета встал вопрос об исключении Паны из комсомола.

Полным шоком для собравшихся стало заявление Паны, что он не только полностью согласен с предложением его исключить, но и не видит никакого смысла ни в своем пребывании в этой организации, ни в её существовании вообще.

Воцарившуюся тишину через минуту нарушил лишь потяжелевший голос председателя: – Думаю, на сегодня мы собрание закончим... – и вполголоса, обращаясь к активу: – Зачем ломать парню жизнь?

И Пану оставили в комсомоле. Через неделю он узнал, что его имя звучало с трибуны районного слёта комсомольского актива как пример честного и принципиального комсомольца, поставившего серьёзный вопрос как о своем месте в комсомоле, так и о роли этой организации.

В школе было достаточно и хорошего, и плохого, но друзей он здесь не обрёл – были лишь одноклассники, с которыми он здоровался при встрече.

Их он и считал друзьями, в основном за общую принадлежность к району Октябрьской набережной, места довольно глухого, куда еще не каждый таксист вечером брался отвести. Первый, школьный опыт обогатил Пану глубоким скептицизмом к любой иерархической организации человеческого общества.

Кто знает, куда бы привела Пану дорога закоренелого двоечника и социопата, но из школы его путь лежал только в ПТУ. Нужно было как-то удовлетворять свои возрастающие потребности не за мамин счет, да и учиться ему порядком надоело.

Пана имел городскую прописку, и в отличие от Аннушки, с которой он в училище и повстречался, мог выбирать себе профессию. И город предоставлял их огромное количество! Наиболее популярными были «художественные»: дизайн, декор, роспись дерева, фарфора, всё это было доступно только питерским. Иногородним доставались не столь популярные: литейщики, формовщики, операторы механизированных обработок.

Училище, в которое вступил Пана в качестве будущего мебельщика, представляло собой целый городок, из корпусов, мастерских, общежитий. Здесь училось тысячи три народа, по десяткам различных специальностей из разных краев Советского Союза. Что сразу поразило Пану – в путяге отсутствовала столь ненавистная ему школьно-дворовая иерархическая система. Здесь не было изгоев и лидеров, не было борьбы за «положение и право». Пана нравилось всё и все, страшилки про ПТУ, которыми пугали в школе нерадивых учеников, оказались полным бредом. Ему нравились мастерские, нравилась специальность, нравились учителя.

Проведённые здесь четыре года, пожалуй, были лучшими в его жизни! Для него изменилось само понимание Ленинграда. Всю сознательную жизнь мама считала своим долгом его куда-то вытащить: Петергоф, Пушкин, театры, музеи, пока Пана был маленький, маме что-то иногда удавалось. Но считать посещаемое как-то причастным к нему или его городу оснований у Паны было не больше, чем считать «своей» витрину галантерейного магазина.

Ленинградом для него были ряды хрущевки родной Октябрьской набережной да небезопасные пространства Веселого поселка, где он сильно рисковал получить по башке по тому же территориальному принципу.

В училище учился народ со всего города. Теперь «пойти погулять» для него означало час на автобусах и метро, чтоб захватить Сашку, еще час заехать за Машкой, чтоб в итоге на полчасика зайти в кафе. Прежде чужой, огромный город наполнялся массой знакомых людей, людей удивительных, живущих в удивительных местах, удивительной жизнью.

Обитатели мастерской скульптора Крутского, хрупкого Аннушкиного мирка, будто срисованного с эпохи Возрождения, стали Пана особенно близки. Может, этот мир был слишком сложен для его понимания, но оттого казался лишь более ярким и привлекательным. В него нельзя было попасть или вломиться, можно было лишь принимать его по капле, как Аннушкин чай, даже не подозревая, что пьёшь не то, что остальные. Этот остров сюрреализма среди запечатлённых в глине и гипсе человеческих тел и эмоций разоружал и выворачивал, заставляя переоценивать себя, других и всё, что казалось хоть сколько-то значимым.

В нём не существовало «мы», в нём каждый был абсолютной, единственной ценностью, олицетворяя собой всю эфемерность этого понятия.

Но ощущение «абсолютной, единственной ценности» впечаталось в сознание навсегда.

Такой ценностью, обретенной Паной в студии Крутского, стал его ученик Игорюша. Нелюдимого, нескладного Игорюшу волновало лишь поступление в художественную академию, он не втягивался в светскую жизнь натурщиц скульптора.

Отрешенность, некоммуникабельность Игорюши импонировала Пана, и он не задумываясь согласился на его неожиданное предложение позировать ему для какого-то очередного проекта. Игорюша в благодарность потащил Пана на выставку Рерихов – отца и сына.

Время провели чудно. Посмотрели отца, поржали над сыном.

Надо признать, Игорюша умел находить что-то интересное и умел удивлять. Однажды он влетел радостный, и сообщил, что достал билеты в филармонию! Из всего, что тот тараторил, Пана понял только слова «орган» и «Бах» и что он «давно это ждал»!

Если бы это говорила мама, Пана решил бы, что это шутка – что нормальный человек может «ждать» от филармонии? Однако Игорюша был товарищ проверенный. И Пана пошёл.

В филармонии сразу вышел конфуз. Пана никогда не думал наряжаться на стрелки с товарищами, но тут, на фоне белых колонн и разряженной публики, он почувствовал, что выглядит слишком радикально. Расстройство добавляло воспоминание, что в этом же наряде он с училищем ездил на картошку в прошлом году.

Однако начало действия вышибло у Паны все сомнения. Игорюша, как всегда, не подвёл. Мощный органский поток вдавил Пана в кресло как при включении скорости гончего автомобиля, тут же наполнив его торжеством и восторгом.

Это был настоящий драйв, перед которым меркли все синтезаторы.

Уважение Паны к Игорюше только росло, его мнение было неоспоримым.

А потеря оказалась невозможной утратой. Бог знает, что стало тому причиной: академия Игорюши, смерть Крутского, конец студии, а может, просто естественный ход вещей, сводящий и разлучающий людей в многомиллионном городе.

Ведь его самого в то время закрутили совсем другие заботы.

В отличие от Аннушки, Пана никогда не прикидывался, что вопросы полов его не волнуют. И беда пришла именно с этого направления.

Начиналось всё замечательно – зависая у стрелки Васильевского острова, он подцепил девочку, которая так приветливо и бурно на него отреагировала, что это смутило бы и сфинкса на набережной.

Пана даже на время позабыл про все свои дела, которые у него наверняка были.

Они встречались в «Туче», кафе у Тучкого моста, которое Пана ей и показал, шлялись по Невскому, даже ездили за грибами. Девушку звали Ольга, Пана был от неё в восторге.

Всё было хорошо, пока Ольга не затащила Пану к себе, знакомиться с родителями.

Родители были милейшими, приветливыми людьми.

Шок у Паны вызвала квартира Ольги.

Впрочем, для стресса ему достаточно было бы и одной её комнаты. Комната была огромной. Он никогда не видел жилого помещения, в котором с любой точки свободно просматривались все четыре угла, а мебель казалась игрушечной.

У Паны хватало такта, не размахивать руками, не восхищаться, не выяснять кто её родители. Он резонно решил, что за период знакомства Ольга рассказала о себе всё, что хотела...

Правда, про родителей он ничего не помнил. Только, что глава семейства у них – бабушка, личность всем, кроме, конечно, Паны, хорошо известная, и живет она отдельно.

Ольга лишь как-то обмолвилась, что «родители не оправдали бабушкиных надежд», и теперь все надежды та связывала с любимой внучкой.

Чувствовал он себя в этих хоромы подавленно и плохо.

Положение усугублялось тем, что Ольга теперь предпочитала встречаться на своей территории и требовала от Паны познакомиться её с его друзьями.

Пана спасался её большущей фонотекой. Но вечно это продолжаться не могло. Что было ему бедному делать?

Привести Ольгу к Аннушке, к их заляпанному краской и глиной чайному столику?

Или устроить рейд по трущобам колодцев и коммуналок родного города?

Пана пытался организовать досуг. Сколько раз он вспомнил Игорюшу!

Сначала после их болтовни о Сальвадоре Дали он привёл Ольгу на выставку его репродукций.

Выставка была ужасна.

Пана ходил не поднимая глаз и от стыда, и чтоб не уродовать в памяти то, что видел раньше. Ему было стыдно за себя, за организаторов, которые как будто своей экспозицией пытались показать, как выглядел бы Дали, пиши он исключительно половой краской фирмы «Заря». Одно он знал точно – Игорюша на такую лажу его бы не привёл.

Другая попытка увлекательного времяпровождения окончилась еще более оглушительным провалом.

Пана был счастлив, обнаружив афишу со столь многообещающими словами как «орган» и «Бах», и сразу, без тени сомненья ринулся за билетами.

В этот раз наученный горьким опытом посещения филармонии, Пана начал готовиться заранее. К счастью, у него был костюм, купленный мамой на школьный выпускной. Он тогда в трех местах слегка пострадал от пьянки, но был еще практически новым. Даже почистил свои видавшие виды ботинки!

Но провал был куда ужасней, чем в первый раз.

Пана не учел, что Ольга появится в концертном платье, от которого у него возникнет только одно желание – провалиться сквозь землю.

Тогда на пару Пана-Игорюша никто вежливо не обращал внимания.

На пару Ольга-Пана внимание обращали все. И Пана в своем нарядном костюме с Ольгой было куда хуже, чем в колхозном с Игорюшей.

И это было только начало.

Афиша, к которой Пана отнесся столь легкомысленно, гласила:

1. «Пьесы современных композиторов»
2. «Фуги Баха в 12 частях (исполняется без перерыва)»

Первую часть Пана просто отмучился, стараясь это перетерпеть.

Он никак не мог понять, какому идиоту пришло в голову исполнять это на органе?

Вторая оказалась не лучше.

От разочарования и нудятины Пану сморило. Фраза в скобках на афише оказалась для него неточной, перерывы в фугах у него были. Возможно, их было двенадцать, заканчивались они толчком локотка хихикающей Ольги в бок, когда он начинал храпеть.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.